

Владимир Гиляровский

# «Нечаянная радость»



Часть сборника  
*Москва и москвичи (сборник)*



Владимир Алексеевич Гиляровский

## «Нечаянная радость» (Друзья и встречи)

«Огромный железный замок, каких с тех пор я больше никогда не видал, висел на низенькой, обитой листовым железом двери.

А привело меня к этой двери вот что. Это было в половине восьмидесятых годов, в конце сентября. Я работал тогда в «Русских ведомостях» и возвращался с ночного пожара по Малой Бронной. Вижу, с бульварчика Патриарших прудов тропотит мелкими шажками, чуть не бежит, маленький человечек с рыжеватой округлой бороденкой и маленькими «северными» пронзительными глазками, весело глядящими, ничего не видя из-под измятой полястой шляпенки. Одет он был в модную тогда среди небогатой интеллигенции коричневую размахайку-крылатку...»

# **Владимир Гиляровский**

## **«Нечаянная радость»**

Огромный железный замок, каких с тех пор я больше никогда не видал, висел на низенькой, обитой листовым железом двери.

А привело меня к этой двери вот что. Это было в половине восьмидесятых годов, в конце сентября. Я работал тогда в «Русских ведомостях» и возвращался с ночного пожара по Малой Бронной. Вижу, с бульварчика Патриарших прудов тропотит мелкими шажками, чуть не бежит, маленький человечек с рыжеватой округлой бороденкой и маленькими «северными» пронзительными глазками, весело глядящими, ничего не видя из-под измятой полястой шляпенки. Одет он был в модную тогда среди небогатой интеллигенции коричневую размахайку-крылатку.

– Елпидифор Васильевич, здравствуйте!

– А, Баян, ты откуда такой чумазый?

– С пожара на Живодерке.

– Большой пожар?

– Строчек на пятнадцать... цыганский домишко сгорел.

– А! На-ка, пощупай...

И сует мне из-под крыла своей размахайки пакет с горячими калачами.

– Горяченькие; пойдём ко мне чай пить. Вот моя квартира.

И, потянув меня в ворота, вынул из кармана огромный железный ключ с резной бородкой и плоской, ажурной ручкой.

– Видал такие? В прошлом году настоятель Каменного монастыря на Кубинском озере подарил замочек-то. Петровских времен.

Пока он отпирал этот замочек величиной с кошку и изображавший собой кошку: ручка – хвост во рту, – к нам подошел усатый, солдатского вида, седой дворник. Он поставил к стенке метлу, вытянулся во фронт и шапку «по-николаевски» скинул.

– Чего изволите приказать, ваше превосходительство?

– Опять?! Сколько раз говорил. У меня небось имя есть.

– Ельди... Ельди... Ну, хоть убей... Ваше превосходительство...

– Ладно; вот тебе копейка, беги в трактир за кипятком, чай заварись...

Заиграл какую-то музыку замок, запела дверь, и мы с Елпидифором Васильевичем вошли. Елпидифор Васильевич передал дворни-

ку большой медный чайник, в который сыпнул щепотку чаю из жестяной чайницы с надписью «К. и С. Поповы».

– И на письмах, – обратился ко мне дворник, – им пишут: «Его превосходительству»...

– Ну, ладно, беги за чаем... Да тут около пруда разносчик с грешниками (Гречневики.) стоит, купи у него десяточек, – и дал гривенник и газету на обертку.

– Грешники и Патриарший пруд! Это почище «развесистой» клюквы, думаю...

Квартира Елпидифора Васильевича была в нижнем этаже, с маленькими оконцами, глядевшими из толстенных сводов, как из глубокой ниши. Первая комната, где мы повесили верхнее платье, была прихожая, заваленная связками рукописей чуть не до потолка. Только рядом с дверью висел медный рукомойник над треногой ушастой деревянной лоханью. Рядом с ним серебрилось широкое полотенце, вышитое синим с красным: с одной стороны – красная избушка, по сторонам две елки, а с другой – синий монах в красной лодке и опять две елочки, тоже синие.

– На, умойся! – Подал мне кусок яичного

мыла и, указывая на полотенце, сказал: – Этим летом мне монашки в скиту поднесли.

Когда я умылся и вошел в следующую комнату, Елпидифор Васильевич разбирал наваленные на столе бумаги и перекладывал их на соседний стол.

– Очищу место для чая... А ты пойді в те комнаты, погляди на стенах иконы древние.

Комната, в которой накрывался чай, была и столовая, и приемная, и рабочий кабинет. Она сплошь завалена пачками и кипами перевязанных бумаг. По стенам – полки, набитые книгами, то огромными, то крошечными, в древних кожаных переплетах. На одном из четырех столов стояла чернильница, лежали окруженные выцветшими древними рукописями свежие листы начатой работы. Следующая комната – спальня хозяина. На огромном, красного дерева диване – ситцевое одеяло из цветных ситцевых треугольничков. «Наверное, работы таких же монашеночек, что и полотенце вышивали!» – подумалось мне. Сверху лежали две подушки, также в вышитых наволочках. По сторонам, между полками книг, висели от пола до потолка древние иконы,

рассмотреть которые было невозможно: окна, запыленные, должно быть, никогда не мытые, создавали таинственный полумрак. Слепо выглядывали образа из ниш и почерневших от времени, глубоких толстых сводов. Пахло слегка сыростью, пылью, старой бумагой и еще чем-то. Я узнал чем только в следующей большой комнате. В полумраке (солнце из-за высокого соседнего дома никогда сюда не заглядывало) можно было рассмотреть такие же иконы, сплошь завесившие стены, уложенные на полу книги и связки рукописей. Местами все переплелось паутиной. Я догадался, чем пахло в той комнате: пахло мышами. Рассмотреть ничего нельзя – только из-под толстой, мохнатой, как бы живой пыли неведомые контуры видны. Елпидифор Васильевич вошел и позвал пить чай.

– Вот три года все собираюсь разобраться, да все не удосужусь. Цены нет этому хламу. И вот все новые и новые наслоения. Каждый год с севера привожу... Вот здесь уж законченная работа – «Причитания северного края»... Былины да песни древние. Вот здесь весь угол раскольничий. Тут древний царский быт... А



вот театральный уголок! Я, брат, тоже по театру годка два поработал, по истории русского театра до восемнадцатого века... А вот это, где пыли нет, сверху, – «Слово о полку Игореве»... Чудеса! Что за язык... я прямо отдыхаю на этой работе... Как раз сейчас на столе «Игорь» лежит... А вот как-то пришел ко мне один приятель – ты его знаешь, а потому имени не скажу, да и говорит: «Так жить нельзя! Это у тебя не квартира ученого, а лавочка старьевщика!» И с этого слова мне еще дороже стало мое логово и мой хлам. Чуть пошевелишь – золото. Копнешь, а под ним бриллиант. Одно возьмешь, а другое само лезет. Все-то я помню. Этот хлам у меня в голове: закрою глаза и памятью вижу, что там лежит, что как выглядит.

А чай уже сервирован.

На свободном месте стола, рядом с кипой рукописей по «Игорю» стоял большой медный чайник и два стакана на блюдечках, лежали калачи, каленые яйца, вареная колбаса и десяток гречневиков на «Московском листке».

– Еще теплые, подсолнечным маслицем

вспрыснуты. Аромат! Я их очень люблю. А вот чем я тебя попотчую с чайком. Землячка вот твоя! – И подвинул ко мне глиняную банку с благоуханным поляничным вареньем на меду.

– Это с Бела-Озера... Ведь твой отец белозер, а я черепан. Оба мы потомки ушкуйников. Давно я с ним не видался, вместе учились.

Я это знал, и мой отец в письмах ко мне приписывал: кланяйся черепану. Из-за этого и наша долгая дружба с Елпидифором Васильевичем началась.

Когда закусили и выпили чаю, он наклонился под стол и вытащил полуштоф наливки и характерной формы бутылку бенедиктина, его любимого напитка. Вместо рюмок появились два маленьких серебряных стаканчика: на одном выгравировано по-славянски: «Его же и монаси приемлют», а на другом: «Пей другую».

– А ты все по пожарам да по катастрофам носишься! А дельное-то что делаешь?... Стихи-то пишешь? Ведь я тебя не даром Баяном зову. Тебя да еще одного только Граве Леони-

да... Твоих бурлаков помню... Плакал, читал.

– Вот я со «Стенькой Разиным» вожусь. Две главы написал...

– А, ну-ка? Может, что помнишь? Стеньку я люблю. Стенька мужик умный. Он знал, что знал!

И когда я ему прочел «Казнь», он даже прослезился и сказал:

– Это, брат, для грядущих поколений... Света долго не увидит. Вот когда-нибудь такой будущий Барсов разыщет твою пропахшую мышами рукопись – вот тогда она и свет увидит. А ну-ка, еще что помнишь?

Прослушал.

– Все равно печатать нельзя. А я тебе о Стеньке расскажу, что сам слышал; написать надо, а то пропадет.

И рассказал мне Елпидифор Васильевич о том, как Никон, разжалованный царем из патриархов, сидел ссыльным монахом в своем Новом Иерусалиме, в своем каменном доме-крепости. «Патриарх всея Руси и собиный друг государя» был накануне ссылки в глухой Олонецкий монастырь, как вдруг к нему пришел неизвестный человек и просил

принять его.

– Ты, Баян, был в Новом Иерусалиме? Недалече от Москвы, посмотреть тебе надо... главное – дом Никона, моя речь о нем; съезди.

На другое лето я был в Новом Иерусалиме. В роскошном монастырском саду, в глухом углу стоит под вековыми деревьями небольшой двухэтажный дом, сложенный на тысячи лет, с толстенными стенами и маленькими окнами – крепость по тому времени необоримая. В то время, когда я был в нем, все сохранилось так, как было. Обратил я внимание на мебель: неподъемные скамьи, столы из толстых досок на таких ногах-бревнах, что не сдвинешь с места. И особенно эта вековая мебель была страшна в маленькой комнатке во втором этаже, где Никон занимался делами и принимал поодиночке только тех, с кем тайный разговор держал.

И вот в те, такие тревожные дни для метавшегося в своей крепости, обозленного Никона к нему тайно пришел Стенька Разин!

– А то, что я тебе рассказываю, – пояснил мне Барсов, – я слышал в Новом Иерусалиме от старого монаха, говорившего вообще мало

и с большой осторожкой, по выбору. Я долго работал в хранилищах монастыря и подружился с ним.

«Допустил патриарх (с большим уважением он вспоминал и его, и Стеньку) к себе Степана Тимофеевича в свой собинный покой, где вот мы с тобой сидим, и пошел у них разговор долгий и бесспорный, потому думали они одинаково. И рассказал атаман донской патриарху всея Руси, что он хочет для народа правду открыть и дать волю... Вот, – как сейчас вижу, – на тех самых местах, где мы, маленькие людишки, сидим, тогда сидели два богатыря... И патриарх благословил его: „Иди, бейся за правду и волю!“

– Вот, что мне удалось слышать, то и тебе передаю, – у тебя выйдет, а то без этого нехватка будет. Пиши! А теперь замонахорим [1].

Выпили по чарочке.

– А вот я тебе покажу кое-что.

Елпидифор Васильевич вышел в заднюю комнату. Когда он вернулся с тетрадью своей рукописи, я кончал то, что впоследствии украсило моего «Стеньку» и что я прочел тут

же ему:

Благослови, отец святой,

Мне постоять за волю...

Так начинается моя книжка «Стенька Разин», напечатанная только в 1922 году. Я прочел эту, сейчас за его столом написанную главку со словами Никона:

Ты прав, Степан, иди за волю биться...

После самых сердечных излияний Елпидифор Васильевич положил передо мной свою тетрадь, исписанную его круглым, четким почерком, и сказал:

– Читай, Баян!..

«Боянъ бо вщй, аще кому хотяще пснь творити, то расткашется мыслию по древу, срым вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подь облакы. Помняшетъ бо, рече, първыхъ времянь усобиц».

Через год он дружески надписал мне свою работу – «К Слову о полку Игореве».

Долго мы не видались с Барсовым. Он вообще нигде не бывал, занятый научным трудом и музейными изысканиями да в обществе «Древностей российских», где секретарствовал. Как-то летом в воскресенье, когда се-

мья была на даче, я нахожу на столе визитную карточку: «Елпидифор Васильевич Барсов. Шаболовка, собственный дом». А на другой стороне надпись карандашом: «Милый друг Баян. Хоть бы заглянул ко мне на новоселье. Воскресенья и праздники всегда дома».

Выхожу я тотчас же из дому – навстречу по Столешникову переулку хромает романист А. М. Пазухин. Я показываю ему карточку: собственный дом.

– Ты всеведущий, а этого и не знал. Ну-ну!

Мы зашли позавтракать в Петровские линии, в ресторан, и Пазухин рассказал мне о событии, которое может случиться только в Москве, где необычайный размах уживается с копеечностью на мелочах. Пазухин был участником такого интересного события.

Через час, расставшись с Пазухиным, я подъезжал к двухэтажному деревянному, небольшому с фасада дому на Шаболовке.

«Дом действительного статского советника Елпидифора Васильевича Барсова» – значилось на воротах. Отворяю калитку – звякнул колокольчик на весь двор. Вхожу. Широкий двор. По зеленой травке ходят куры. За решет-

кой сада, в конце двора, белеют под старыми липами и тополями пышные кусты жасмина, а из дверцы садовой решетки торопится ко мне навстречу и сам домовладелец, в красной рубашке, подпоясанной шелковым поясом, в широкополой соломенной шляпе. Блаженство и радость на лице его с седеющей бородкой, подстриженной, уж не той, как прежде, клочкатою, нечесаной.

– Милый Баян! Вот рад, вот рад! Наконец-то ты у меня, в моей «нечаянной радости», в моей новой «лавочке старьевщика».

– Любуюсь!

– А ведь я уж два года женат... Пойдем в сад. Жена пошла на базар клубники к чаю купить, а я малость вздремнул после обеда... По праздникам мы обедаем в двенадцать...

В решетчатой зеленой беседочке, оплетенной диким виноградом, около стола с розовой скатертью, уставленного закусками и чайной посудой, хлопотал в белом фартуке дворник солдатского вида, с седыми усами, который меня узнал и приветствовал.

– Вот и его мне тоже Николай Иваныч вместе с архивом с Патриарших прудов перевез.



Я притворился, что ничего не знаю.

– Какой Николай Иваныч? Ничего не понимаю!

– Помнишь, я тебе тогда говорил, что был у меня приятель, который сказал, что у меня не квартира, а лавочка старьевщика. Тогда фамилии его я тебе не назвал. А это был Пастухов!

Я развел удивленно руками.

– А уж меня-то как он удивил. Вот, пока жены нет, я тебе, Баянушка, как другу, все расскажу. А ты закусывай. Вот пирожки с верхвологодскими груздями... Вот вяленая нельмушка из Кубинского озера. Колбаска генераловская... Морошка моченая. А вот наливочка поляничная. Кушай и слушай такой сказ, что, будь жив Щеголенок Василь Петрович, он бы такую былинку сгоношил, что за сказку прирешь.

Выпили мы по серебряной чарочке, а он мне другую наливает.

– Слушайся надписи!

Я охотно послушался, читая: «Пей другую».

– ...Да, так вот было дело. Сижу я у себя на Патриарших, разбираюсь в старье, вдруг захо-

дит Пастухов.

– Не помешал?

– Нет, просто так роюсь. Садись, Николай Иванович.

– Одевайся, поедем ко мне, а потом уж к тебе я тебя перевезу.

Выходим. Стоит четырехместная коляска. Садимся. В Ваганьковском к нему во двор не въезжаем. Навстречу из ворот выходят в шляпах Виктор (сын Пастухова) и Пазухин. А Пастухов говорит им:

– Садись, ребята, в коляске прокачу! – И махнул кучеру рукой, чтобы ехал. Тот уж знал, куда ехать; как оказалось, через Каменный мост едем. Приезжаем ка Шаболовку. Останавливаемся у ворот вот этого самого дома, и он пальцем тычет, на вывеску показывает. Читаю – и как безумный гляжу... И очень мне обидно показалось: что за глупая шутка, думаю... «Дом действительного статского советника Е. В. Барсова».

Входим во двор. На крыльце встречает какая-то женщина, скромно одетая, в темном платье, с косынкой на голове, и кланяется.

– Милости просим, Елпидифор Василье-

вич...

Меня Николай Иванович и Виктор ведут под руки. Иду, а сам дрожу. Ничего не понимаю... Входим в зал, по стенам пустые книжные шкафы... Дальше – кабинет с роскошным письменным столом и тоже шкафы и полки по стенам, а на столе дорогой письменный прибор и серебряный бювар с надписью: «Дорогому другу Е. В. Барсову на новоселье от Н. Пастухова».

Открывает он бювар, а в нем бумага – купчая крепость на дом на мое имя! После чаю я тебе все покажу!..

Вошла с корзинкой клубники моложавая, довольно красивая и стройная женщина в легком сереньком платице, с кружевной косынкой на голове.

– А вот и супруга моя... А это Баян, поэт, сын моего друга и мой дружок.

Этим на этот раз и кончились разговоры, а остальное передаю со слов Пазухина, что в ресторане уже слышал.

Пастухов, повидав жите-бытье Барсова, решил своему сотруднику подарить дом, где ему было бы удобно работать.

– Там он того гляди умрет – дышать нечем, – говорил он и стал отыскивать домик-особнячок в здоровой местности. Подыскал домик с садом на Шаболовке, у одинокой вдовы недавно умершего бухгалтера. Оформил покупку и привез нового владельца на новоселье.

В тот же день перевезли в фуре Ступина сразу весь барсовский архив под присмотром солдата, усатого дворника, который в тот же день переселился в новый дом. В первые два дня все было уложено и уставлено.

В эти дни обедать Пастухов его увозил к Тестову, самовар ставил новый дворник, или старая хозяйка приглашала его пить чай. На третий день она должна была переехать совсем и уже наняла себе квартиру. Утром зашел к ней проститься Елпидифор Васильевич. Она сидит у чайного стола и горько плачет. Из разговора выяснилось, что и квартиру наняла хорошую, и кухарка остается у нее, одно неудобство: хлева нет.

– Все бы ничего... Всем я довольна... Да вот сижу и жду мясника, коровушку на убой продаю...

Слезы текут.

– Коровушку жаль! – И разрыдалась.

Сидит Барсов, сам чуть не плачет, утешая ее, и вдруг:

– Знаете что: выходите за меня замуж! Вы знаете, кто я такой... Позвольте сегодня же по старинному порядку сваху заслать, а там честным пирком и за свадебку.

Так и стала вдова-мещанка генеральшей.

В летние месяцы я иногда заезжал к Барсову. Самое интересное бывало, когда я заставал его одного. В солнечные дни сидели в садике за чарочками для наливок или «наперсточками» для бенедиктина. Жена его, мало понимавшая наши разговоры, уходила по хозяйству, и через решетку слышались ее воинственные крики на кур или ворон, карауливших наседку с цыплятами.

В дождливый день он водил меня по желтому крашеному полу, ежедневно протертому керосином. Нигде ни пылинки. Казалось, что книги и рукописи на полках в застекленных шкафах сучают о «лавочке старьевщика» и о паутинке, которая все-таки шевелилась, когда по ней бегал паук или трепетала муха, за-

летевшая через дверь с грязного двора. Особенно поражал чистотой зал, где по субботам каждый лист «самосадков», доросших, как и три широколиственные пальмы, до потолка, перетирался самой хозяйкой, балансирующей с рассветом на складной лестнице. Эти пальмы были ею выращены, когда она еще была девочкой, а ее отец, меццанский выборный, выстроил этот домик за год до ее рождения, на монастырском пустыре. На окне горшки с геранью – и пахучей кудрявой и красно-розовой, и лилии, и столетник, лимоны и апельсины, посаженные зернышками, – словом, садоводство на каждом окне. А на столике, сделанном из старинных изразцов уже по заказу самого Барсова, красовался медный чайник, с которым когда-то его усатый «Ли-чарда» бегал за кипятком в трактир. Теперь он служил для поливки цветов.

Внизу две комнаты были заняты разным громоздким драгоценным старьем северной старины: деревянные фигуры святых, вырезанные из цельного дерева, половинки церковных резных дверей иконостасов и различные посохи, между которыми отличался по-

сох с финифтевой ручкой, украшенной надписью вязью. Барсов его нашел где-то на глухой почтовой станции под Архангельском, и кому он принадлежал, неизвестно.

– Какому-нибудь сосланному святителю, – говорил он.

Древних икон еще больше прибавилось: ими завешаны обе комнаты, и всему свой уголок, свое место. В первой комнате чего-чего не было! Вот деревянные колодки, в которые монастырских узников заклепывали, и куски иконостасов и царских врат удивительной резной работы, сохранивших еще позолоту... А рядом – настоящие и с глубокого севера, и из мордовских лесов большие идолы, вырубленные также из целого векового пня дерева. Потом, познакомясь с работами Коненкова, я вспомнил барсовских идолов. Мне сразу на ум пришло:

«Эге! Вот откуда твоя слава пошла. Ничто не ново под луной!»

Глядя на эти фигуры идолов и домодельные скитские иконы и картины из покоев раскольничьих владык севера, много общего я находил потом на декадентских выставках.

К их картинам также требовались надписи вроде этой:

«Се лев, а не собака».

На стенке разное оружие, отысканное Барсовым на чердаках и в подвалах монастырей: копья, ружья, медная пушечка, и из раскопок в старой Рязани – стрелы, ерихонки железные, кольчуги.

– А вот это, видишь, на стене, железные вериги в пуд весом. Их носил юродивый Фомушка, который проклял за душегубство Ивана Грозного, когда он зверствовал в Вологде. Иван Грозный после этого проклятия уехал и не тронул «блаженного». Вериги потом в Вологде висели в монастыре, а Палладий, новый архиерей, приказал их убрать и выбросить.

А вот оборудованный с особым тщанием под средним окном и около него на стене – театральная ниша.

– Я, брат, ты знаешь, тоже годика два и театру послужил... Работал по истории русского театра до восемнадцатого века. Всех книжников и барахольщиков обьялел... Книжки, рукописи – там, вверху, в шкафах, а здесь, видишь, – указал он на стену и витринку, – мас-



ки разных времен, рисунки, лепка, оружие и доспехи, а в шкафу костюмы... Я, брат, тоже считаю себя человеком театра. Кто им не увлекался! Я-то ушел, а вот и сейчас два дьякона в опере служат.

Потом уж, наверху, за накрытым столом, говорит:

– Помнишь, какая хламота была на Патриарших? Теперь этот музейчик всегда заперт, окна не отворяются, все кисеей покрыто... А мышами-то все-таки припахивает!

– Да, есть-таки. Как там было.

– Вот за это-то я и люблю эти комнаты. Как ты ни говори, а все-таки «лавочка старьевщица» имела свою особую прелесть. Ведь там и под пылью жизнь кипела: потянешь одно, а там, глядишь, другое за ним, из другого совсем мира... А за ним еще и еще. Как игра в бирюльки – только живые. Одна родит другую.

А сам поляничную подливает и подвигает ко мне чарочку: «Пей другую». Это уж десятая!

– Так-то, Баян!

Выпили, а он широким жестом обвел шка-

фы.

– А тут что? Как солдаты, стоят книги, и каждая на своей полочке, и каждая бирюлька занумерована... А там, куда ни ткнишь, всюду «нечаянная радость». Не ждешь, а найдешь!

– Да, это ты верно слово сказал.

– Да не мое это слово – чужое повторяю, а сказал его Лев Николаевич Толстой. Он в конце семидесятых годов, когда приезжал в Москву, ко мне заходил советоваться насчет материалов для своих работ. Иногда надо было показывать их и при нем рыться в пыли архива. То и дело приходилось неожиданно находить нужное совсем в неподобающем месте. И сказал он мне как-то: «Я понимаю теперь, как можно любить самую беспорядочность такого архива: в нем живет нечаянная радость».

Вот почти единственное, что у меня осталось ярче всего в памяти из его рассказов о Толстом. А говорил он мне о нем не раз. Смутно помню, что он много раз вспоминал разговоры с Толстым по поводу декабристов. Я помню, что Барсов упоминал в тот день часто это слово, – называл много известных имен,

но я боюсь их вспоминать, даже то, что осталось в памяти: вдруг ошибешься. А с такими великими именами ошибки не допустимы, а то выйдет, как у барсовского «Личарды».

– Ельди... Ельди... Хоть убей... Ваше превосходительство!

Я вот ничего не записывал из этих разговоров, о чем теперь слезно жалею: сколько он знал!

Помнится, что раз только, вернувшись домой, я записал один разговор, а что именно, не помню.

И вот теперь, через десяток лет, когда я пишу мою памятку о друге моем, друге моего отца, друге всех и вся, – я нашел в папке обрывок старой тетради, в которой сохранилась единственная запись одной нашей беседы.

Вот она целиком, вся как есть.

«Сегодня, 25 июня 1901 года, был я у Барсова в его домике. Он, как всегда дома, в кумачной рубахе и соломенной шляпе. Блаженствует в своем садочке. Самовар. Чай с поляничным вареньем – из Белозерска прислали. Пирожки с вологодскими рыжечками и луком и неизбежный „монахором“ из старинных се-

ребряных чарочек.

– Все то же, что там, на Патриарших. И варенье-поляничка, и морошка моченая, и наливочка.

– Сравнил! Теперь рай! И скатерка чистая, и самовар.

– Мне и тогда у тебя нравилось, хорош уголок был!

– Вот тоже и Толстой говорил... Он там у меня несколько раз был, когда приезжал в Москву. Это было в 78-м и 79-м годах. Он тогда писал новый роман «Петр I». Много о севере спрашивал, о древних людях. А потом приходит как-то ко мне и говорит:

– Я пока остановился писать «Петра»: ничего раскола не понимаю. – И засыпал меня вопросами о расколе. Потом уж я напечатал в «Русском обозрении» статью: «Петр и Толстой». Это был мой ответ Льву Николаевичу. Как-то тогда Толстой встретился с гостившим у меня моим другом, собирателем былин Щеголенковым. Я записывал с голоса его былины. Старик был совершенно неграмотен.

Я их познакомил. Разговор сделался общим. Щеголенков много говорил о внецер-

ковных христианах. Толстой заслушался его, хлопнул меня по плечу и сказал:

– Вот как по-настоящему богу молятся. А мы разве умеем?

Просидел тогда Толстой у меня до поздней ночи.

Толстой так увлекся сказами и былинами Щеголенкова, что пригласил его к себе, и он, уже совсем старый, – ему было тогда под восемьдесят, – прогостил у Толстого месяца три. С этой встречи у меня Толстой бросил окончательно свой роман «Петр I» и перестал быть художником, посвятив всего себя вопросу внецерковного христианства...»

Рассказ Барсова я записал дословно, пока Елпидифор Васильевич выходил из-за стола по хозяйству, и даже из записной книжки переписал в тетрадь.

# Примечания

# 1

С латинского. Здесь – выпьем «монахора», т. е. бенедиктина.

[^^^]